

«ЭТОТ ВОЗДУХ ПУСТЬ БУДЕТ СВИДЕТЕЛЕМ...»

Жизнь и поэзия Осипа Мандельштама

Осип Эмильевич Мандельштам — один из величайших русских поэтов вообще и, возможно, крупнейший в XX веке, выдающийся прозаик, классик европейской и мировой литературы. Сегодня все это звучит триумфом. Но для современников поэта это было отнюдь не самоочевидно.

Мандельштам вовсе не принадлежал к числу «надмирных» лириков, живущих в замкнутом, очищенном от всего непоэтического, подчеркнуто внесоциальном мире (среди них, заметим, тоже есть истинно великие — например, Афанасий Фет или Леонид Аронзон). Нет, он находился в постоянном и углубленном диалоге со своей эпохой, с ее событиями, языком, символическим рядом. Для нас он сейчас — символ этой эпохи, ее свидетель и жертва.

Но, наверное, многие его сверстники весьма удивились бы этому. Для них современность воплощали другие поэты: Маяковский, Есенин, в крайнем случае — Хлебников и Пастернак.

В чем же природа этого чуда? Почему так сдвинулась историко-литературная оптика? Что дал Осип Мандельштам русской поэзии и России и почему это, данное, так важно?

Начнем с биографии.

«Я рожден со второго на третье января в девяносто одном ненадежном году...» — эти строки из «Стихов о неизвестном солдате» вполне автобиографичны. Мандельштам родился 3(15) января 1891 года в Варшаве. Он, таким образом, на год моложе Пастернака, на полтора — Ахматовой и примерно на столько же старше Цветаевой. Поэты, которых одно время объединяли в «большую четверку» Серебряного века, были почти ровесниками. Владислав Ходасевич, Николай Гумилев, Владимир Хлебников, Николай Клюев были несколько старше, Маяковский, Есенин, Георгий Иванов — несколько моложе. Дебютировали же все эти большие мастера между 1905

и 1915 годами, в течение десятилетия. Редко в истории литературы встречаются настолько яркие поколения.

Через месяц после рождения старшего сына отец поэта, Эмиль (Хацкель) Вениаминович, получил диплом «мастера перчаточного дела с присовокуплением вспомогательного ремесла сортировщика кож». Статус квалифицированного ремесленника (а позднее купца первой гильдии) позволил семье в 1894 году переселиться в Петербург, закрытый для большинства лиц «иудейского вероисповедания». Впрочем, коммерческие дела Эмиля Мандельштама, торговца кожей, шли, по большей части, неблестяще.

«Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями... Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел — и биография готова». Эта гордость безродного интеллектуала в случае Мандельштама психологически понятна, но вообще-то семейство, из которого он вышел,

и по еврейским критериям считалось знатным, почтенным, и в русской культуре след оставило. Среди Мандельштамов, выходцев из курляндского местечка Жагоры — видные адвокаты, врачи, филологи, прославленный рижский архитектор Пауль Мандельштам, всемирно знаменитый физик Л. И. Мандельштам, несколько поэтов¹. Но, конечно, имя и заслуги Осипа Мандельштама заслоняют всех его родственников.

Родители поэта далеко ушли от еврейской традиции, и для самого поэта она осталась чужой. Для него это был «хаос иудейский», глубокая, но темная, пугающая, чуждая аполлонической европейской цивилизации стихия. Можно с уверенностью сказать, что, когда жизненные обстоятельства потребовали от Осипа Мандельштама сменить вероисповедание, он сделал это без больших колебаний

¹ Можно упомянуть Юрия Мандельштама, зятя Стравинского и ученика Ходасевича, погибшего в 1943 году в Освенциме, и яркого андеграундного поэта 1950-х Роальда Мандельштама, тоже умершего молодым.

(то же, что он предпочел креститься в лютеранской церкви, а не в православной, опять-таки объясняется практическими соображениями). Но такого решительного отречения от еврейства, такой неприязни к нему, как у Пастернака, у Мандельштама не было. Отношения с «наследством овцеводов, патриархов и царей» были сложными, но это наследство признавалось.

Эмиль Вениаминович был скорее носителем немецкой культуры. Русские культурные влияния доходили через мать, Флору Овсеевну, урожденную Верболовскую, двоюродную сестру выдающегося пушкиниста С. А. Венгерова (вообще духовная и интеллектуальная связь с матерью и у Осипа, и у его младших братьев Александра и Евгения в детстве и отрочестве была крепче, чем с вечно занятым отцом). Еще одним — важнейшим! — источником этих влияний был сам городской ландшафт Петербурга. О порожденном этим ландшафтом (и милитаризованным жизненным укладом имперской столицы) «ребяческом империализме» Мандельштам много (притом отстра-

ненно, иронически) говорит и в своей автобиографической книге «Шум времени» (1925), и в зрелых (1931 года) стихах:

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобию.

Здесь Мандельштам полемизирует с такими своими стихами, как «Петербургские строфы» (1913) и «Уснула чернь...» (1914), в которых декларируется внутренняя связь с «чуждовишной, как броненосец в доке» державной Россией, обретенная в Петербурге и благодаря Петербургу.

Но, разумеется, город к этой «державности» не сводился. Школа, которую родители выбрали для Осипа — Тенишевское училище — представляла иной аспект петербургской культуры и петербургского стиля. Десятилетием позже в Тенишевское училище поступил Владимир Набоков. Парадоксально: младший по возрасту классик школу не полюбил, но ее дух (соединение британского стиля, спорта

и прогрессивной политики) был очень близок к домашнему укладу его семьи. Мандельштам пишет о «Тенишевке» с теплотой, но по духу он остался этой школе (и вообще английской культурно-бытовой традиции) чужд. Хотя, несомненно, общение с преподавателем литературы, поэтом-символистом Владимиром Гиппиусом, повлияло на пробуждение интереса к литературе. Увы, Гиппиус (по выражению Мандельштама, «формовщик душ и учитель для замечательных людей») не оценил своего ученика и не испытал законной в его положении гордости: мандельштамовская поэзия казалась ему «словоблудием», а «Шум времени» — «пошловатой книгой».

Одним из эпизодов юности Мандельштама было увлечение революционными идеями — что было очень распространено на фоне бурных политических событий 1905—1907 годов. Юный Мандельштам зашел в этих увлечениях дальше, чем большинство его сверстников: он стал членом партии социалистов-революционеров, участвовал в пропагандистской работе, выступал на митинге и даже был допущен на

какую-то эсеровскую явку в Финляндии, где издалека видел основателя эсеровской Боевой организации Гершуни. Видимо, это было одной из причин, по которой родители по окончании Тенишевского училища (1907) отправили шестнадцатилетнего сына учиться во Францию: в России ему могли грозить неприятности с полицией.

Трехлетнее (с перерывами) обучение в Сорбонне и в Гейдельберге, путешествия по Франции, Германии, Швейцарии и Италии сыграли в жизни Мандельштама огромную роль. Он смог погрузиться в мир тысячелетней культуры, соприкоснуться не только со «священными камнями», но и с живым кипением европейской мысли и духа. Так, в Сорбонне он слушал лекции Анри Бергсона. Именно такое обучение лучше всего подходило ему по складу личности. Академическое образование в Санкт-Петербургском университете, куда Мандельштам поступил в 1911 году (для этого, собственно, и потребовалось креститься, а также досдать экзамены по древним языкам, которые в Тенишевском училище не препода-

вались), шло менее успешно: диплома поэт так и не получил (так же, заметим, как Гумилев и Ходасевич).

Из-за границы Мандельштам вернулся сложившимся поэтом. Его детские опыты не дошли до нас, кроме двух стихотворений революционного содержания, написанных в 1906 году, в архаической для своего времени, еще досимволистской традиции, но, впрочем, вполне грамотных. Мандельштам же между 1908 и 1912 годами — уже вполне сложившийся, «взрослый» поэт, не эпигон, а наделенный отчетливой индивидуальностью младший представитель символизма. Замечательно тонкую характеристику дает его стихам этого времени С. С. Аверинцев:

«Очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии... Боль адаптации к жизни взрослых, а главное — особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады

между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще не обретенному «моему ты» (как Мандельштам будет называть свою жену) и странной, словно бы нечеловеческой, холодностью, когда межличностные связи еще не налажены, — все это для мальчика не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается...».

Нельзя сказать, что юношеские стихи Мандельштама встретили какой-то особый восторг, но они были оценены и приняты. Молодой поэт дебютирует в престижнейшем литературно-художественном журнале «Аполлон» (1910. № 11). И тем не менее на рубеже 1911 и 1912 годов Мандельштам примыкает к новой поэтической школе — акмеизму, мыслящему себя как альтернатива символизма. Как известно, в группу изначально входило шесть поэтов — кроме самого Мандельштама, Гумилева и Ахматовой (с которыми он сблизился после возвращения из-за границы) это Сергей Городецкий, Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич. Группа акмеистов была ядром более широко-

го объединения — Цеха поэтов. Мандельштам не сразу принял акмеистическую эстетику, но приняв — стал ее активным проповедником. Другое дело, что сама эстетика эта для разных поэтов означала разное. Для Гумилева — действенное, мужественное отношение к миру, приятие его опасностей и соблазнов. Для Ахматовой — возможность говорить о человеческих чувствах и отношениях в их житейской конкретности, без мистического подтекста и ложной романтизации. В случае молодого Мандельштама задачи новой школы формулировались так: «Акмеизм — для тех, кто обаянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю — значит, я прав» (статья «Утро акмеизма», 1913). Или — словами из стихотворения «Адмиралтейство»: «...Красота — не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра». Архитектурный и ремесленный (в высоком смысле слова) подход к миру, поэтизация труда и мастерства, очеловечиванья